

Уэллс Герберт Джордж

Страстная дружба: Роман

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Г37

Г37 **Герберт Джордж У.**
Страстная дружба: Роман / Уэллс Герберт Джордж – М.: Книга по Требованию,
2026. – 191 с.

ISBN 978-5-519-78597-6

ISBN 978-5-519-78597-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Как много пробелов было в наших разговорах! Мы никогда не говорили с ним о любви, никогда не говорили о религии...

Было много вещей, которые ни один двадцативосьмилетний мужчина не стал бы скрывать от своего сверстника, а он скрывал от меня, своего сына. Я оставался несколько дней в его доме после его смерти, пересматривал его бумаги и перебирал все те интимные, личные вещи, которые годами накапливаются в жизни каждого человеческого существа. Тут были пожелтевшие письма и газетные вырезки, какие-то обрывки лент и разные странные реликвии, слегка приоткрывавшие передо мной завесу его жизни. Я узнал многое, чего даже не подозревал. Но мне показалось, что я насильственно проникаю в чью-то тайну, и поэтому я сжег не прочитанными многие бумаги, в том числе любовные письма и разные другие трогательные вещи.

Но моя память о нем не изменилась от того, что ~~я~~ заглянул в его жизнь. Напротив, многое ярко осветилось мне, и он мне стал еще ближе и дороже, чем был.

В столовой висят портреты трех поколений Стратонов. Какой огромный запас мыслей и всяких жизненных переживаний скрывают они! Но для нас это—навсегда закрытая книга. И я думал о том, как много мы переживаем, каждый из нас, и как мало мы передаем своему потомству! Все, что я имел в руках, были только намеки, указания, правда—трогательные и неожиданные, но все же случайные и отрывочные. Зачем эти люди, уходя навсегда, оставили столько недосказанного из своей собственной жизни, столько потерянного и забытого? Кто знает, быть может, переживания моего деда дали бы мне тот жизненный опыт, для достижения которого мне пришлось потратить столько лет своей жизни! Разве не должны, наконец, отдельные поколения сойтись и помогать друг другу? И я уверен, что недалеко то время, когда народится новая, домашняя литература, и отцы и матери, кроме своей роли руководителей, воспитателей и покровителей детей, исполнят и другую роль, оставляя им откровенный рассказ о своей жизни и мыслях и открывая им это, как равный

равному, без авторитетного тона и недомолвок, чтобы после смерти явиться своим детям, как их современники и друзья.

Многие из нас испытывают такое желание высказаться, но по многим причинам не осуществляют его. Я же чувствую непреодолимую потребность написать эту книгу.

Прошло уже полтора года с тех пор, как я пережил тяжелую трагедию и потерял друга, который был мне дороже жизни. Этим другом была женщина. И я не могу забыть о ней! Но обстоятельства так сложились, что я ни с кем не могу свободно говорить о ней. Я не могу говорить о ней с твоей матерью, мой сын. Это может быть странно, если принять во внимание, как мы любим и доверяем друг другу. Ты, впрочем, поймешь это, прочтя мою историю. В течение восьми долгих лет, пока кризис не завершился ее трагической смертью, я ни разу не видался с нею. Но, даже помимо того потрясения и горя, которое причинила мне ее смерть, она еще заставила меня глубоко почувствовать мое одиночество.

А между тем, в этом последнем ее акте было какое-то мрачное величие, которое овладело моим воображением и наложило отпечаток на все мои мысли, на каждый вопрос, занимающий меня... И я не могу отделаться от этого, пока все это скрывается в тайниках моей души.

Быть может, даже и написав эту книгу, я не оставлю ее тебе, мой сын. Я не знаю, как поступлю тогда. Но все-таки я должен написать ее...

II.

Школьные годы.

Мне было четырнадцать лет, когда меня отдали в школу Гарбюри, где уже воспитывалось столько поколений моих предков. До тех пор я учился дома. Сначала у меня была гувернантка, потом моим учителем сделался мистер Сиддонс, помощник моего отца, который был викарием. Мои отроческие годы и юность

протекали между красными кирпичными стенами Гарбюри (впоследствии Кристчерча) и питались его традициями, за исключением лета, которое мы проводили в сельской глуши.

Я никогда не был городским жителем, пока не женился и не поселился в нашем теперешнем доме в Голланд-Парке. Я приезжал в Лондон совершенно так же, как люди выходят на арену, и еще теперь лондонская жизнь временами очень тяготит меня. Но ведь только такие большие города составляют центры человеческой жизни и там сосредоточивается моя работа!

Мой отец сделался викарием в Бернморе, когда мне было девять лет, и оставил эту должность только тогда, когда мне уже было около тридцати лет; поэтому самые яркие воспоминания моего детства и юности связаны с жизнью в поместительном и уютном доме священника в Бернморе и с великолепным, обширным бернморским парком.

— В последний раз я увидел Бернмор, когда мне минул двадцать один год. Моя история объяснит, почему это было и отчего так кристально ясны мои воспоминания о Бернморе. Тысячи ярких картин встают в моей памяти при одном упоминании этого имени, и все они одинаково дороги мне.

Как живо помню я мои прогулки по лесу в сопровождении Филиппа и Гюя Христиана и их сестры, которую я уже тогда любил всем своим сердцем!..

Но и другие лица часто примешиваются к моим детским воспоминаниям: старый дворецкий, лэди Ледислоу, высокая и грациозная, в светло-сером или голубом платье из мягкой, шелковистой материи. Я вижу себя гуляющим по парку и рассеянно слушающим наставления „старого“ Сиддонса. Но старым он мог казаться только мне тогда. Он был старше меня лет на двенадцать, не больше. Я недавно встретился с ним в Гей Маркете, и меня даже поразила его необыкновенная молоджавость. Пожалуй, теперь он кажется моложе меня. Но тогда, в Бернморе, он был на много выше меня ростом, и я смотрел на него, как на старого наставника.

Вспоминаю свои разговоры с ним. Я приехал на вакации из Гарбюри, и между нами возник спор. Он говорил о вере и порицал диссидентов. Я не помню хорошенько, что я возражал ему, но кажется я, с запальчивостью юности, высказал мнение, что мысль должна быть свободна и верования не подлежат никакому контролю. Как быть с сомнениями, если они возникают?..

— Этого не будет, если вы сделаете над собою усилие,—отвечал Сиддонс.—У меня тоже была борьба... Но надо твердо сказать себе: церковь нас учит этому! Надо сказать это и воздержаться от порицаний.

— А если этого не можешь сделать?—настаивал я.

— Можно, если хочешь этого!—возразил он почти с энтузиазмом.—Я все это пережил. Но я отогнал от себя сомнения. Я не стал слушать. Я чувствовал, что это ни к чему не ведет!

Но упрямый, непокорный дух во мне не мог успокоиться.

— Хорошо. Но как быть с истиной, с бесстрашным, непобедимым стремлением к истине?..—приставал я к нему.

Однако весь мой юношеский задор всегда разбивался о холодную бесстрастность Сиддонса. Он раз навсегда покончил с этими вопросами и не хотел возвращаться к ним. В назидание он рассказал мне историю самонадеянного школьника, который отправился к своему главному наставнику и объявил ему, что он атеист. Тот не стал даже вступать с ним ни в какие рассуждения, а попросту высек его.

— Впоследствии он сам признавался, что это было именно то, что было ему нужно, самое лучшее из всего, что только могло быть и что принесло ему пользу!—прибавлял Сиддонс елейно-добродушным тоном.

Его рассказы заставляли вскипать мою кровь, и я уже заранее пылал ненавистью ко всем „главным наставникам“ школы. И в то же время я смутно чувствовал, что в его словах заключается грубая, неприкрашенная правда, иллюстрирующая человеческие отношения.

Но отец мой никогда не разговаривал со мной о религии. Он предоставлял это Сиддону или другим. Только впоследствии я узнал, что, после довольно упорного и добросовестного сопротивления, он сдал свою позицию и капитулировал перед дарвинизмом, подобно многим другим священникам, находившимся в его положении. Он пришел все-таки к известному компромиссу и на этом успокоился.

Мистер Сиддонс был первый, внушивший мне понятие о жизни, как о карьере. В своих разговорах со мной он постоянно возвращался к этому. Он говорил о причинах успеха в жизни и о неудачах, о государственных деятелях и администраторах, пэрах и Вестминстерском аббатстве...

— Нельсон был тоже сыном священника, как и вы,— сказал он мне однажды.

Он перечислял разные обстоятельства, которые приводят к жизненным неудачам, или же способствуют успеху и делают людей знаменитыми. Самым решительным тоном он заявлял, что умствования не ведут ни к чему. Надо поставить себе цель и неуклонно идти к ней. Надо помнить,—наставлял он меня,—что учреждения важнее взглядов.

— Что же вы намерены сделать со своею жизнью, Стив?—спрашивал он меня.—Где вы намерены служить? Надо избрать себе жизненную карьеру, какую-нибудь форму службы, без этого счастье невозможно!..

Все те наставления и поучения, которые я выслушивал от Сиддонса, с еще большей силой внедрялись в меня и закреплялись в школе. Я учился хорошо и считался вполне корректным юношей. Я написал две статьи в школьный журнал, участвовал в прениях по литературе и политике и вел весьма продолжительные разговоры с моими старшими современниками о политике, литературе и социальной жизни, но свои сокровенные мысли я все же прятал от всех решительно. Порою мне кажется, что я даже скрывал их от самого себя,— так действительна была система воспитания, установленная в Гарбюри и подкрепляемая Сиддонсом.

Помню, что перед выходом из школы я тоже мечтал о карьере, о какой-нибудь широкой, блестящей и

полезной деятельности в мире. Тогда был сезон империализма. Но это был живописный империализм, который находил выражение в ранних произведениях Киплингa, и мы тогда были восторженными приверженцами империалистской идеи. Нам, в Гарбюри, нетрудно было верить в наше расовое, национальное и классовое превосходство. Ведь мы были англо-саксонцы, избранный народ и руководители мира в социальной организации, в науке и экономических методах. В Индии и на Востоке, в особенности, мы были апостолами справедливости для всех и распространителями благ цивилизации среди других рас, противящихся этому. Конечно, наши успехи вызывали сильнейшую зависть и соперничество других континентальных наций, в особенности Франции, России и Германии. К счастью, внимание Франции было отвлечено северной Африкой, России—восточной Азией, и только Германия оставалась самой сильной соперницей Англии в ее стремлении к господству над миром.—

Так думали все мы в Гарбюри в конце девяностых годов. Мы ничего почти не знали об ожесточенной борьбе из-за тарифной реформы, о грязной коммерческой и финансовой стороне наших отношений к населению обширных, эксплуатируемых нами, территорий. Мы ничего не знали о социальных условиях в нашей стране и были абсолютно невежественны в экономике. Мы только знали одно и твердо верили, что англичанин—это лучший из людей, что английская литература, наука и философия недостижимы в своем сиянии для других народов, что наши солдаты—лучшие из солдат, а наши моряки—лучшие из моряков!..

Само собой разумеется, что империалистическая идея должна была увлечь меня, и я решил, что буду служить империи. Но как—я этого сам не знал. В честлюбивые моменты я невольно думал о политике, и политическая арена казалась мне лучшей ареной для службы империи.

Случай, без сомнения, играет важную роль в жизни каждого из нас, преимущественно в молодые годы. Какое важное, первостепенное значение получает порой случайная встреча, и в особенности—встреча с существом другого пола! Быть может, где-нибудь далеко, в другой части света или в стране, в школе или детской,

в трущобе или во дворце, живут маленькие существа, которые впоследствии внедряются в нашу жизнь с истинно чудовищной, непреодолимой силой и совершенно изменяют ее течение, возвысят или унижат, поднимут на небеса или погрузят на дно болота. В этих неведомых вам существах заключается ваша судьба. Они станут вам необыкновенно близки, и вы будете любить их, ненавидеть, служить им, бороться с ними, и в этой смене чувств будут расходоваться ваши жизненные силы и будет заключаться ваша жизнь.

Я не помню хорошенько, когда я стал испытывать на себе влияние другого пола и влечение к нему. Мне кажется, что вначале это было лишь простое любопытство, и впечатления были мимолетного свойства, потому что они почти не оставили следов в моей памяти. У меня сохранилось лишь смутное воспоминание о том, что вслед за внезапным усилением интереса именно к этой стороне жизни, я всегда ощущал потом странные приступы стыда и желание куда-нибудь скрыться. Быть может, тут влияла исключительная обстановка, в которой протекали мои юные годы, совершенно свободная от каких бы то ни было опошляющих влияний в этом направлении. В библиотеке моего отца совсем не было таких романов, которые могли бы влиять на мое воображение в известном направлении. Конечно, я думал о любви и даже, как мне казалось, был влюблен раза два, когда был еще совсем мальчуганом. Но я никогда не разговаривал про любовь с моими сверстниками, как это обыкновенно делается, и чувство, испытанное мной, было молчаливым благоговением и смутным, неопределенным желанием самоунижения. Помню, что я так именно поклонялся лэди Ледислоу в своей ранней юности. Потом мне очень понравилась какая-то молоденькая девушка, с которой я познакомился во время одного путешествия, не помню, какого. Я и теперь живо помню ее румяное личико и задорную улыбку...

Помню и еще одно раннее увлечение. Это была молоденькая продавщица в табачной лавочке. Повинуясь непреодолимому влечению, я шел в эту лавочку, покупал папироски и иногда робко заговаривал

с продавщицей о погоде. Но мысленно я всегда вел с нею самый оживленный и горячий разговор и мечтал о встрече с ней. Я думаю, что если бы я сделал над собою усилие, то мог бы извлечь из своей памяти еще несколько таких фактов. Воспоминание о них почти совершенно изгладилось у меня и не оставило следов в моей жизни. Участь моя решилась лишь в тот момент, когда лэди Мэри Христиан, улыбающаяся и залитая лучами солнечного света, подошла ко мне в павильоне Бернмора. Ее сияющий образ заслонил передо мной все другие воспоминания и определил мою судьбу.

III.

Мои планы и лэди Мэри Христиан.

Мы, все пятеро, были товарищами детства. Лорд Мекстон, который потом был убит под Паардебергом, в то время как я был в Лэдисмите, был старше меня всего на один год. Филипп, нынешний граф Ледислоу, был моложе меня на полтора года. Мэри же была моей сверстницей, а младший Гюй нами всеми считался ребенком, хотя в скором времени перерос всех нас. В играх Мэри и я всегда подчиняли себе других, потому что я был начитаннее и обладал гораздо большим запасом сведений об индейцах и военном искусстве, нежели мои товарищи, к тому и воображение было гораздо сильнее развито у меня, чем у старшего, Мекстона, поэтому и первенство в игре всегда принадлежало мне.

Когда семья Христиан приезжала в Бернмор,—где они обыкновенно проводили три-четыре месяца ежегодно,—то я почти не расставался с ними. Но странно, у меня сохранилось очень мало воспоминаний о Мэри, как о ребенке. То, что потом случилось, совершенно заслонило от меня этот ранний период нашей дружбы. Я знаю, что мы в детстве были очень привязаны друг к другу, но помню, как однажды, рассердившись на меня за что-то, она внезапно пришла в такую ярость, что стала меня бить по лицу и царапать, и братья с трудом оттащили ее от меня. Затем помню то, как я впервые обратил внимание на блеск ее голубых очей. Она была

необыкновенно проворна, ловка, и, когда мы гонялись друг за другом, то поймать ее было очень трудно,—она всегда ускользала из наших рук, точно угорь.

Я не видел ее и никого из семьи, за исключением Филиппа, почти около двух лет, после того как мы вместе провели последнее лето в Бернморе. Кажется, они уезжали в Канаду, вместе с лордом Ледислоу, но затем что-то произошло между лордом и его женой, и она вернулась в Бернмор, с Мэри и Гюем, чтобы опять провести там лето.

Это как раз совпало для меня с переходным временем. Я кончил школу в Гарбюри и уехал в Оксфорд. В Бернмор я приехал на лето вместе с Филиппом, который, так же как и я, вышел из Гарбюри. Я был тогда длинным, худощавым, семнадцатилетним юношей и казался даже моложе Филиппа, потому что у меня еще не было усов. Но я казался солидным и держал себя с большим достоинством, как взрослый мужчина. Домой я приехал настроенный очень торжественно, после проводов, устроенных нам в школе, и с чрезвычайно серьезным видом разговаривал с отцом об Оксфорде и о своих планах.

На другой день, после обеда, я отправился в Бернмор-Гоуз, но, не найдя никого дома, прошел в сад, к индейскому павильону, выстроенному, по желанию лэди Ледислоу, под большими, старыми, развесистыми деревьями, с восточной стороны дома. Там я нашел хозяйку дома в обществе ее кузины Елены Христиан и еще трех молодых людей.

Лэди Ледислоу очень приветливо поздоровалась со мной.

Дети играют в теннис,—сказала она мне, указывая рукой в сторону площадки, и я тотчас увидел там Гюя, который вырос так, что его трудно было узнать.

Рядом с ним стояла прелестная молоденькая девушка в белом платье и большой мягкой шляпе, прикрывавшей ее глаза. Блики солнечных лучей, пробивавшихся сквозь густую листву каштановых деревьев, сверкали блестящими подвижными пятнами на ее тоненькой стройной фигуре, то появляясь, то исчезая при всяком ее движении и точно перегоняясь друг с другом.

— Стив приехал! — закричала она, увидев меня, и замахала мне ракеткой.

Я совсем не помню, что я ей сказал и что она говорила мне, но мог бы и теперь описать в мельчайших подробностях ее наружность и то впечатление, которое она произвела на меня. Я был настолько потрясен внутренне, что мне понадобилось немало усилий, чтобы вернуть самообладание и побороть волнение, овладевшее мной. Я старался вспомнить свое выдающееся положение в школе и то, что я нахожусь на пороге Оксфорда, иначе мне трудно было бы победить свое смущение и молчаливость.

Конечно, я был поражен тем удивительным превращением, которое произошло в ней. В моей памяти сохранился образ девочки с длинными и тонкими ногами, так некрасиво выглядывавшими из-под короткой юбки. Мы были с ней в дружбе в детстве, но я хорошо помнил ее задорный нрав и царапины. А теперь я видел перед собою грациозную молодую женщину, изящно одетую и столь уверенную в себе!

Сколько мне помнится, я с нею почти не разговаривал за столом и только с необычайно корректной вежливостью, но полным равнодушием, принимал от нее то, что она передавала мне во время завтрака, угощая меня, как хозяйка. Зато я был особенно внимателен к старшим и вступал в оживленный разговор с лэди Ледислоу и ее гостем, каким-то джентльменом небольшого роста, в коричневом костюме.

Впоследствии Мэри созналась мне, как она ждала нашей встречи и как ее огорчало мое невнимание.

Потом мы опять сошлись с нею в павильоне. Лед был, наконец, сломан, и мы беседовали уже, как добрые старые товарищи. Мы гуляли в саду между клумбами, пестреющими массой цветов, и долго стояли, облокотившись на балюстраду, перед гротом с искусственными сталагмитами и нелепой статуей амура посередине, откуда бил небольшой фонтан. Я замечал, что она с любопытством разглядывала меня, в то время как мы разговаривали с ней о цветах, о канадской зиме, и потом внезапно, без всякого перехода, стали вспоминать старые годы и наши детские забавы и игры. Моя неловкость